

И ТА, И ДРУГАЯ*

МАИССА БЕЙ

(Алжир)

«**П**овстанцем» оказался мой отец и тогда, когда решительно отказался жениться по выбору невесты родителями. Те предложили ему в невесты одну из его кузин, «предназначенную» ему с самого детства... Этой кузине отец предпочел мою мать. И это был не совсем «выбор по любви», что само по себе было немыслимо в его среде, но просто отец поставил свои условия: его жена должна быть женщиной образованной, хотя бы настолько, насколько позволяли условия того времени. В некоторых алжирских семьях девушки только-только преодолевали традиционные табу, переступая порог французской школы, которую обязательно должны были покинуть, достигнув половой зрелости. Моя мать и ее сестры, происходившие из семьи двуязычного мусульманского юриста, принадлежали, к счастью, к этой «элите» алжирского общества, которая позволяла женщинам получить образование, хотя под давлением религиозных нравов обязывала девушек, желавших получить свои дипломы, закрыть лицо вуалью и «уйти из школы», едва они «созреют». Так общество охраняло «своих женщин», бдительно следя за тем, чтобы их «чистота» и «честь» не были подвержены осквернению опасным и тлетворным чужеземным влиянием... И отцу надо было искать безупречную по своей репутации и девушку, и ее семью, не «зараженную» французским образом жизни, но образо-

ванную. Хотя все вокруг него были уверены, что в семьях, где женщинам разрешено учиться, царят «сомнительные нравы», что само по себе представляет опасность для чести семьи. Рассказывали, что в больших городах, таких как Алжир или Оран, некоторые девушки ставят под сомнение решение родителей «запирать» их в домах и закрывать свое лицо, выходя на улицу; а ведь этот их «протест» противоречит строгости мусульманских запретов...

...Но вот, едва демобилизовавшись, возвратившись домой после прохождения военной службы, мой отец, несмотря на все протесты семьи, женился на моей матери. Хотя и увидел ее лицо только после свадьбы. Однако она умела читать и писать, бегло говорила по-французски, что было редкостью для мусульманки. Наверное, отвечала ему и на его письма, которые посылал ей отец из казармы... Да, он был солдатом и носил французскую униформу, хотя и не был французским гражданином. А сама я, признаться, думала (и довольно долго, вплоть до 1962 г.), что я - француженка. Ведь родилась-то я хотя и в Алжире, но он считался департаментом Франции. Позднее, когда я увидела паспорт моего отца, я поняла свою ошибку: там было уточнение, что он - автохтон, «туземец», мусульманин, «не натурализованный» житель Французской Республики...

Мне надо было заглянуть во множество книг по истории, чтобы понять эту разницу, установленную французской администрацией для алжирцев «в целях защиты своих привилегий в своих колониях». Таким образом, я поняла, что такое национальность, что такое граж-

данство. Что «туземцы», алжирцы, были «подданными» Франции, а не ее гражданами. Что они обязаны были подчиняться французским законам, но не имели права голоса, и что дискриминация алжирцев простиралась и на их другие общественные права и свободы, вплоть до 1947, когда их статус стал соответствовать «гражданам второго сорта», другой категории, в сравнении с теми, кто имел полноценные права и свободы. Но, как мне объяснили, это происходило потому, что и мой отец, и другие алжирцы «не захотели отказаться от своего “обычного” права, связанного с исламом». А потому их и считали «не натурализовавшимися». И отец так и не успел стать «французским гражданином», поскольку погиб в 1957 г., ровно за год до того, как генерал де Голль провозгласил всех жителей Алжира «гражданами Франции». В самый разгар антиколониальной войны... Но я помню, как относились к тем алжирцам, кто захотел стать «французом», как называли их... Стигматами своего ренегатства, своего самообретения и до сих пор отмечены некоторые семьи... В то время как другие, уже многие годы спустя после получения страной Независимости, по «политическим соображениям» потребовали своей реинтеграции во французское гражданство...

Если я остановилась немного на колониальном периоде, то только потому, что колонизация Алжира сформировала, несомненно, мое миропонимание и характер моих устремлений в дальнейшем, но главным образом потому, что вопрос «идентичности» по необходимости связан с Историей, с прошлым. И именно колонизация, несмотря на мой юный возраст, при-

* *Бей М. L'une et l'autre. P., 2009. Отрывки из книги, написанной по материалам лекции, прочитанной Маиссой Бей на конференции в Рубо (Франция) «Встречи нового века» 20 ноября 2008 г.*

О к о н ч а н и е. Начало см.: Азия и Африка сегодня, 2011, № 3.

вела меня к осознанию своей собственной идентичности - и культурной, и даже политической. Можно сколько угодно долго спорить с Альбером Мемми*, который утверждал, что «колонизированный еще долго живет в деколонизированном», но война и жестокость, с ней связанная, оказались теми двумя основами, на которых я, ребенком, открывала для себя мир, дешифровала его. И в моих воспоминаниях еще живы образы, о которых не стану рассказывать, но которые очень рано заставили меня осознать «стигматы», которыми я, видимо, была отмечена и которые сквозили во взглядах других людей на меня и мою среду. Нужно было время, чтобы их идентифицировать.

Надо, однако, уточнить, что я имею в виду, когда говорю о «стигматах». Конечно, не в их изначальном смысле как физических «маркерах» какого-то недуга, страдания или позора... Я придерживаюсь суждения социолога и лингвиста Эрвинга Гоффмана, который утверждает, что стигматы определяются «той ситуацией или тем положением индивидуума в обществе, которое что-то в нем дисквалифицирует и мешает быть полностью принятым в этом обществе». «Стигматы» эти могут быть телесными, психологическими или коллективными. Поэтому надо понять, что некоторые идентификационные черты личности могут иметь характер «стигматов». Это и есть «взгляд других» на тебя, отмечающий твою «особость».

...Взгляд «другого». Личный или групповой. Некоторых групп. Тех, которым не нравятся, или они просто не приемлют отношений с «чужим», - с тем, который не принадлежит к их группе. С тем, кто «ускользает» от их понимания, чье жизненное поведение им непонятно. С тем, для которых он, несомненно, изначально объект антагонистический.

* Мемми Альбер (Memmi, Albert; род. в 1920 г., Тунис) - французский писатель и социолог (прим. ред.).

Для меня, ребенка, первый контакт с «чужим» был жестоким. Он сопровождался грохотом их подкованных сапог. Это военные ночью пришли за моим отцом. Это они перевернули вверх дном весь наш дом в поисках компрометирующих отца документов, бумаг. Жестокостью была их деструктивная ярость и потом - крик отчаяния моей матери, узнавшей о смерти моего отца. Жестокость сквозила во всех разговорах, которые я слышала: говорили о пытках, о казни, о несправедливости, о них, да, о них - о врагах, об оккупантах...

«Другие»... Для них я была лишь дочерью «феллаги» - так называли французы алжирских партизан. Это были первые мои стигматы, метки «чужого». В школе, - а это место, где часто воспроизводятся социальные противостояния, расовые и идентификационные антагонизмы, особенно во времена конфликтов, - я часто испытывала со стороны моих французских одноклассников, их матерей и некоторых учителей всякие намеки, молчаливые укоры во взглядах или видеала, как они отворачивались от меня, порой просто избегали, а порой выражали отвращение, недоверие, отстранялись от меня, как могли... Я не понимала их, и все это вызывало у меня чувство тревоги. В памяти застревают слова, брошенные мне. «Всё еще ходишь в первых ученицах, маленькая арабка?» - сказала мне как-то мать моей одноклассницы, увидев меня на выходе из школы...

Я поначалу смущалась, ощущая, как растет отчуждение меня, пыталась держаться где-то на границе между двух миров, уже воевавших, и эхо этой войны звучало все сильнее. Звенело и в моих ушах. Но, как ни странно, я от этого становилась все сильнее, и чем больше росла их ненависть ко мне, тем больше мне хотелось постигнуть их культуру, усвоив ее, сделать своей и тем самым лучше понять тех, во имя великой цивилизации которых была когда-то завоевана моя страна...

И позднее уже, повзрослев, когда я встречалась взглядом со своими соучениками - в большинстве своем французами, детьми богатых колонистов, я еще больше убеждалась в том, как прав был Жан Кокто, сказав: «То, в чем упрекают тебя, то и воспитывай в себе. Это - ты сам, твоя сущность». То есть, я не пыталась уйти, зарыться в те самоидентификационные ценности, которые связаны с арабско-исламской традицией, но именно соизмеряла свои силы в сравнении с другими, пыталась одолеть «другого» на его же собственной территории, постигая его культуру.

Да, именно так, в конфронтации с «другим» рождается твоя самосущность, твое самоосознание. Тем более, в их взглядах я смутно ощущала уже, что речь идет не столько обо мне, сколько о нас всех, и эти мы все и должны были самоосуществиться, добившись независимости. Это была настоящая война.

А еще было и другое. Другая форма стигматизации. Менее противная, не такая прямая, но тоже болезненно мной переживаемая. Ибо она была «внутренней», шла как бы изнутри моего же сообщества. Отныне ведь я была сиротой. А у нас с этим словом связано многое, и в первую очередь некое состояние беззащитности, лишенности определенного рода «покровительства», отсутствия тех, кто должен со всей обязательностью для наших традиций осуществлять свою над тобой опеку мужчины. Отца ли, братьев ли, дяди, но обязательно того мужчины, который в случае несчастья, неприятности помог бы выбраться женщине из сложной ситуации. Ибо мусульманская женщина и сейчас - существо слабое, нуждающееся в опеке мужчины, поскольку ее интеллектуальные и физические способности «ниже» мужских, и она не может сопротивляться реальности в одиночку, даже самым простым ее угрозам, самым обычным жизненным трудностям и препятствиям.

Это чувство - сиротства - я ис-

пытывала еще долго, живя в сообществе, где установленные религией и мусульманским правом «нормы» незыблемы. Даже еще и тогда, когда уже после Независимости я училась во французском лицее в столице, учебном заведении, наиболее «закрытом», «элитарном», куда я была принята в 10 лет по моим высоким показателям учебы в обычной школе. Там уже мне предстояло сталкиваться с детьми алжирских нуворишей - социального класса, образовавшегося в стране вскоре после победы над колонизаторами... Поймут меня те, кто испытал на себе, что значит «различия», те, чье отличие (социальное, культурное) вызывало презрение и неприятие тебя так называемой самопровозглашенной «элитой».

Но была еще и другая реальность. Та, которая «вписана» в твое тело. Неотрывна от тебя, от твоего самоощущения в пространстве жизни, когда ты не перестаешь удивляться, почему ты не занимаешь в нем того места, которое положено именно тебе. Моя самоидентификация и началась именно с воплощения своей самосущности, пусть сотканной из света и тени, однако явленной в этот мир такой, какой есть. Женщиной. Второй половиной Неба, как сказали бы китайцы... Быть Женщиной, это уже стигмат. «Метка», данная свыше. Разве я не знала о том, что правоверный иудей, совершая ежедневно утреннюю молитву, благодарит бога за то, что он не создал его женщиной? Разве мне не рассказывали о том, что в алжирской глубинке некоторые мужчины, говоря о женщине, должны добавить слово «*hachek*» (она, обращение в третьем лице. - *Пер.*), как бы извиняясь перед своим собеседником. А другие, просто не желая упомянуть о жене, говорят общими фразами, типа «у меня дома», «в моем доме» и т.д.

Я - арабка. Алжирка. Я еще и женщина-писатель, и это тоже глубокая часть моей сущности. Пишущая женщина, да к тому же пишу-

щая по-французски, а это - отягчающее обстоятельство для некоторых, хотя и весьма понятное для представителей моего поколения.

Когда же я говорю, что я - арабская женщина, то другие сразу слышат в этом определении звон цепей, воображают груз веков угнетения, «крепостных стен», окружающих наглухо запертые для женщин дома, где их давят безмолвие, бесправие, где гибнут они под грузом запретов...

Хотя небезынтересно в этом плане и другое бытовавшее представление об «арабской женщине», другой ее образ, частенько связанный с образом Востока в целом, - того экзотического с эротическими намеками Востока, который присутствовал на всякого рода разрисованных восточными художниками открытках, которые предназначались для туристов. Может быть, сегодня просто острее встает вопрос о правах человека, и потому образ «арабской женщины» актуализируется в сочетании с ее «бесправием»? Но если избавиться от существующих клише, некоторые из которых реально связаны с печальной действительностью, то что остается мне? Ведь я не признаю себя ни в одном из образов «арабской женщины», созданной в сознании других людей. Может быть, я какая-то особенная? Если да, то какие обстоятельства повлияли на это? Можно ли быть и «арабкой», и просто «счастливой женщиной» одновременно? И о каком счастье идет речь? И обязательно ли понятие «счастья» связано с понятием «разделенности», взаимоуважения твоих взглядов и чувств другими?

Попробую вернуться к своим истокам. Вот они, передо мной - все женщины моей семьи, - все мои тетки, кузины в своих традиционных платьях, широких и цветастых, затянутые поясами с серебряными или золотыми пряжками, украшенные колье, сделанными из старинных французских монет-люидоров, на которых вычеканен профиль Наполеона... Количество зо-

лотых монет в колье - свидетельство богатства, социального статуса... Вижу и выходящих на улицу женщин, укутанных с головы до ног в белые покрывала, приоткрывающие на их лицах лишь один глаз, что позволяет как-то ориентироваться им в пространстве, чтобы не попасть в запрещенные для них места, мимо которых они быстро проходят, если встречают их на своей дороге... Я вижу и их сияющие нежностью лица, я ощущаю теплоту их ладоней, их рук, украшенных татуировкой. Пытаюсь разгадать эти синие таинственные рисунки, геометрические фигуры, узоры, расположенные и на подбородке, и на лбу, - знаки их идентичности, их принадлежности к определенному племени, роду, семейству. Эти женские татуировки и сегодня еще (и в других этнических сообществах) означают идентификационные маркеры, и это понятно... Я вижу еще женщин, встающих на заре, спешащих разжечь очаг, замесить тесто, испечь хлеб; женщин, занятых будничным, ежедневным делом, имеющим лишь одну цель: удовлетворить потребности мужчин - прежде всего отцов, потом - мужей и, наконец, сыновей. Забота о них, только о них - почти маниакальна. Женщины порой опускаются на землю, чтобы вымыть ноги отцу или мужу, с тяжелым тазом, наполненным водой, согретой на очаге. Да, они - «подневольные», «угнетенные» властью своих мужчин, но довольные и счастливые. Они спокойны. Именно так, как я осмелилась сказать, - спокойны. Безмятежны даже. Они принимают свое существование таким, какое оно есть. Не представляя себе ничего другого. Какую-то другую жизнь, другие горизонты. Видят только окружающие их стены. Да и можно ли желать то, о чем и не знаешь даже?

Все это кажется мне столь далеким от того, что я представляю сама, чем я стала, что пережила, что увидела. А ведь между нами - всего лишь одно поколение... Но наши различия так очевидны, что

даже кажется странным, невероятным, нереальным: ведь мы из одного клана, из одного сообщества. И они мне - абсолютно чужие? О, какое же историческое время нужно пересечь, какой путь пройти, чтобы позволить себе так думать, высказать всё это!.. Путь от одной Женщины к другой...

А ведь есть еще и мнение моих собственных дочерей, девушек, растущих и эволюционирующих сегодня в пространстве других противоречий и ограничений. Например, тех, что касаются женской одежды. Обязательных «предписаний» носить мусульманский платок и арабское платье. Они, мои дочери, разглядывая сегодня мои фотографии, сделанные на улицах Алжира несколько десятилетий назад, удивляются: «Как, ты выходила одетая в это короткое платье, с непокрытой головой?!» Да, именно так. И улицы Алжира, пусть это кажется невероятным, но сияли от улыбок прохожих, от ощущения Свободы: ведь мы так верили в нее, что долго еще жили с этой верой; ведь они завоевали ее, заслужили, отвоевали в тяжелой борьбе!.. Да, пусть это кажется сегодня невероятным, но я и мои товарищи шли тогда по улицам без страха, без опасений, нам было легко, и мы были легко одеты - в короткие платья и мини-юбки, - мы сделали из этих наших новых нарядов (быстро скроенных!) нашу новую эмблему - эмблему нашей Свободы. Вот что такое было стать другой арабкой... Но разве только длина нашей юбки, покрой платья означают эволюцию или, наоборот, регрессию женщины и, в целом, значит, и всего общества? Конечно, можно и из способа одеваться сделать некую символизацию положения женщины в обществе, - что нередко и делается. Можно даже назвать это «борьбой женщин за свои права». (А иначе как объяснить ношение хиджаба женщинами, идущими в первых рядах демонстрации против исламского интегризма и терроризма во время событий, начавшихся в Алжире в

1990 г.?) В этом плане положение алжирских женщин довольно сложное.

Вообще сегодня у арабов, у мусульманок, у алжирок - много вопросов. И особенно тех, которые связаны с их культурной идентичностью. Женщины в целом - в центре этого вопроса. Ибо даже «отсутствия» в общественной жизни, даже не говоря ни слова, Она, женщина, воплощает желание быть самой собой, даже если она никогда не сознается в этом своем желании. А спектр ее вопрошений огромен - это и декультурация, и деструктуризация, и денатурация, и «отклонение» от норм, и извращение их.

И нам не устают предлагать всякие «образцы» поведенческой модели, которые нам противны, ибо они отпугивают, как чучела, от того поля, где и должна бы была происходить та модернизация, о которой столько кричали, но которую приравнивали к «озападниванию», а значит, к «измене» и «предательству»...

А теперь еще и напоминают о необходимости сохранять «неоспоримые» и «нетленные», вечные и нерушимые национальные ценности...

Мне приходит на ум фраза святого Августина: «Я стал вопросом для самого себя». Потому что в моем теле - женщины - место резонанса всех вопрошений о себе самой, на которые я упорно ищу ответа. От одной к другой: дистанция весьма велика. Так почему же не сказать прямо: и та, и другая.

Родившись в переломный момент национальной истории, в обществе, которое медленно, но верно все больше сосредоточивается на сохранении и укреплении традиционных ценностей, я живу в настоящем, отрицая запреты, граничащие с приговором, обвинением, не желая застыть в оковах, доставшихся от прошлого, в которые меня хотят заковать и снова наделить стигматами, от которых я так страдала в детстве...

Я абсолютно ясно осознаю

узость и пустынную дорог, на которых воздвигнуты только барьеры непонимания и разнообразных страхов. Хочется вспомнить слова поэта Адониса*: «Цепи на ногах моих, но тело мое открыто горизонту»...

Но каждая пересеченная мной «граница» - переживается мной и как освобождение, и как «заточение». Заточение не в смысле изгнания, отрыва от родных корней, но в смысле обретения пути «внутри себя», к себе самой. Быть ближе к собственной сущности. Это сложно требовать, еще сложнее осуществить. Это - как новое саморождение, болезненное само по себе, потому что слишком часто желание самоутвердиться, реализоваться, сопровождается странным ощущением самоотстраненности от реальности.

Я - «другая», потому что, живя в обществе, которое претендует сохранить в целостности и нетронутости, «окультуривать» неким образом особенности национальной принадлежности, в обществе, структурированном сегодня по принципам «дозволенного и недозволенного», заявленного, прокламированного и утвержденного «выдающимися учеными»-теологами, вмешивающимися без всякого стеснения в личную жизнь (даже интимную ее сферу!) человека, я отказываюсь признать, сделать «своими» все «запреты», все ограничения, все «проклятия», обращенные к женщинам, стигматизирующие, клеймящие ее и всех тех, кто не такой, как «все», кто не подлежит их «маркировке»...

Но надо научиться и жить со всем этим. Или выживать. Просто выживать. Ведь даже и это еще совсем недавно могло стать мотивом обвинения и смертного приговора. Ибо, как отметил А.Муссауи, людей, живущих в «другой реальности» (умеющих говорить по-французски или пользующихся

* Адонис (Адунис, настоящее имя Али Ахмад Саид Асбар (род. в 1930 г., Аль-Касабин, Латакия) - сирийский поэт и эссеист (прим. ред.).

этим языком, например) клеймили позором, называли «врагами народа», «посторонними», «агентами Запада», «смутьянами», которые должны «исчезнуть из алжирского общества» (*Moussaoui F. De la violence en Algérie, les lois du chaos* [О насилии в Алжире. Законы, рождающие хаос]. Actes Sud, 2006).

А мне нравится быть «смутьянской», принадлежать к разряду тех, кто будоражит общество, или просто делает Историю. Я представляю себе стоячие, мутные, заболоченные воды, тошнотворно пахнущие, подернутые зеленой плесенью; и вдруг - они внезапно колыхаются, по ним прошли волны: это подземные, чистые течения, родники, живые и бурлящие, породили движение, освободили от застоя, и болото очистилось, стало светлым озером, обрело природное свое назначение.

Но здесь идет речь обо мне. О той, что «осмелилась взять слово», заговорить, причем заговорить о себе. Самовыразиться. Осмелилась войти на территорию, принадлежащую, традиционно, мужчинам. То есть утвердиться в общественном пространстве. Пойти против «течения», вопреки молчанию, или умалчиванию...

Можно ли назвать это особым рода бессилием сделать что-то другое, более важное? Можно ли сказать, что занятие литературой, творчество есть некая компенсаторно-заместительная функция другой, более значимой деятельности? И оно, творчество, лишь усиливает окружающую пустоту, подчеркивает общественные пороки и недостатки. Но мне кажется, что только так и можно идти дальше, рыть, идти в глубину проблем, и в конце этого пути можно и достигнуть того места, где найдет выход собственное «я»...

Итак, и та, и другая. Я другая, ибо когда я пишу, когда «беру слово», то иду на встречу с «другим», со всеми остальными. Мое писание - это место вопрошания, где ответы во многом могут быть даны

только в плане религиозном, особенно тогда, когда мои вопросы затрагивают смысл Жизни, данной человеку. Я осмелилась писать о том, что раньше было сокрыто, умалчивалось, хотя об этом знали, или делали вид, что и так «все известно»... Но я продолжала писать. Об отчуждении людей, о надругательствах над их честью, о бессовестных вторжениях в личный мир человека, разрушающих его. Я преодолевала стыд, условности, рассказывая о жизни женщин, о том, как над ними властвуют мужчины, как лишают их свободы, держат взаперти, в гаремах, отводят им в доме особое место, не разрешая показываться «другим», как держат в глубокой тайне свои нечистые помыслы, превращая своих жен в рабынь. А ведь ранее в арабской литературе практиковались «воспоминания» о «женской половине» дома, полные ностальгии: там младенцы припадали к щедрой груди матери, там женщины собирались вместе на чай во внутренних двориках, ходили «развлечься» в жаркий хаммам... Образ женщины был в основном связан с «материнским лоном», «убежищем», «теплым укрытием», «темным», но «спасительным»...

Я писала о другом. Возможно, желая избежать услышанное в детстве проклятие, которое тяготело над всеми моими соотечественниками. «Тебе никогда не суждено стать самой собой». Твои истинные желания никогда не исполнятся... Я выбрала особый путь: писать о всех тех, чьи образы носила в себе. Идти с ними навстречу. Идти к ним. Я хотела рассказать о ночах, наполненных женским шепотом, о вздохах, наполняющих наглухо закрытые спальни, где можно увидеть лишь в щель ставней звездное небо... О жарких летних полднях, когда истомленные желанием жить сердца запертых в духоте дома женщин пылали, как факел, разожженный запретами... Там, на женской половине дома, обитали другие люди, запрещенные для Жизни и Свободы.

Пусть мои слова - всего лишь пыль, стоящая облаком над пропастью молчания; пусть мой голос - лишь слабое дыхание моего существа, хотя он просто рвется из глубины моей души: я избрала трудное дело, выставя «на свет» всё то, о чем знаю, вплоть до тоски одиночества, но главное, я решила для себя быть солидарной с другими. С теми женщинами, голоса которых я слышу, зная о ранах их души, о муках молчания. В одиночестве своем я не одна. Ибо писать - это значит, я в этом уверена, слушать биение сердец других, но себе подобных, быть вместе со всем человечеством.

Помните, у А.Камю, как его герой-художник написал на холсте что-то неразборчиво, показывая его зрителям его долгожданной картины: «То ли солидарность, то ли одиночество» («Solitaire» и «Solidaire» по-французски звучат почти одинаково... - С.П.). Вот и я пишу. Сознательно иду тем самым до конца, исполняя настоящий императив моей жизни: творю и освобождаюсь. Страдаю и освобождаюсь. Страдаю и испытываю удовольствие. Стремлюсь вырваться с корнем из бездны молчания, из топи застоя страха, все формы страха, которые свойственны и мне, все сомнения, которые переполняют и меня, заставляя трепетать и мою душу. Этот мой неутомимый поиск - как поиск человеком протянутой ему навстречу дружеской руки, которая хочет спасти, в надежде на солидарность, на братство, на возрождение. Так хочется жить, видя звездное небо и незамутненные, не затянутые пеленой Прошлого, Светлые Горизонты.

*Перевод с французского
С.В. ПРОЖОГИНОЙ,
доктора филологических наук*